

И.С. Шмелев

Няня из Москвы

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Ш72

Ш72 **Шмелев И.С.**
Няня из Москвы / И.С. Шмелев – М.: Книга по Требованию, 2022. – 164 с.

ISBN 978-5-4241-1987-3

Роман «Няня из Москвы», написанный в излюбленной Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг непревзойденного мастерства), это повествование бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный водоворот событий истории XX в. и оказавшейся на чужбине. В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои романа обретают душу, приходят к Истине.

ISBN 978-5-4241-1987-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022
© И.С. Шмелев, 2022

Иван Сергеевич Шмелев
Няня из Москвы

I

... А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо-то как у вас, барыня, – и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катичкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что уж вам беспокоиться, я понимши чайку поехала. И самоварчик у вас, смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи... и куда девалось! Бывало, приведу Катичку... – дом у вас чисто дворец был, – они с лопаточками в саду, снежок копают, а меня экономка ваша... носастенькая такая у вас жила, – Аграфена Семеновна, ай Агафья Семеновна...? – чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков, – любила я из китайских. Тут их чтой-то и не видашь... – воды им, что ль, тут нет, и в Америке этой не видала. А как же, и там я побывала... И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужаечка... березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был, не сравнять, как парки... грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то? Пустяки вот помню, а нужного чего и забудешь, голова уж не та, все путаю. Елка, помню, у вас росла, бо-льшая... барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве, и бутылочки все висели, а мы в окошечки любовались, под музыку. И всем какие подарки были!.. И все – как во сне словно.

А вы, барыня, не отчаивайтесь, зачем так... какие же вы нищие! Живете слава Богу, и барин все-таки при занятии, лавочку завели... все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов, ворочали-то как... а надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют... А где я живу-то, генерал один... у француза на побегушках служит! А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете, не такие уж вы старые. Сорок седьмой... а я – больше вам, думала. Ну, не то, чтобы постарели, а... погрузнели. В церкви как увидала – не узнала и не узнала... маленько словно постарели. Горе-то одно-го рака красит.

А уж красивые вы были, барыня... ну, прямо купидомчик, залюбуешься. Живые, веселые такие, а как бриллианты наденете, и тут, и тут, и на волосах, – ну, чисто Царевна-королевна! Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые, а... годы-то красоты не прибавляют, до кого ни доведись. Барин-покойник скажут, бывало, про вас Глафире Алексеевне, – «уж как я расположен к Медынке с Ордынки!» – так вся и побелеет, истинный Бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать... сокол-то какой был, и веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский! Только, бывало, и звонят, только и звонят, – прахтика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали, Глафира-то Алексеевна. Я еще до Катички у них жила, от мамашы с ними перешла, в приданое словно, – уж как за свою и считали. А помирал когда барин, – Глафира Алексеевна... это уж в Крыму было... Ну, что покойников ворошить, царство небесное, Господь с ними.

И малинку сами варили, барыня? Мастерницы вы стали, обучились, – ягодка к яголке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полон дом был. И дома редко бывали, гости вот когда разве, а то театры, а то балы... Ниночку замуж выдали... так, так. Письмецо Катичка читала, в Америке этой получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла, – «все

вон судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкаюсь с тобой, с дурой...» Да нет, любит она меня, а это уж 'так. Не ей бы говорить, отбою от женихов не было, так хвостом и ходили, и посеичас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет, чего ей надо, такая беспокойная. Уж и натерзалась я с ней, наплакалась...

А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катичку, – купи мне яблочков, вареньица я сварю, – так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье, пусто-е... суроп один надушенный, и доро-го-е! А свое-то варить не дозволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на двадца-том этажу, чисто на каланче, – ну, огня и не дозволяют, пожару боятся. Уж и высо-та-а!.. – в окошечко как. глянешь, сердце и упадет. Эти гуделки вот, – ну, как спишешные коробочки, а человека и не разглядеть, – как сор. Видала-то, говорите... Да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели... Сидели, барыня, с самыми-то страшными, львы-тигры вот... истинный Господь. И еще обезьяна, ножиком нас запороть хотела... и как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот... голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой – сама бы не поверила. И чего же надумала, – на еропланах подымать меня собралась, с идолом с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я наземь упала, не далась. «Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я погожу, по земле еще похожу». Она-то уж летала, сорвиголова стала, – не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие... и в море топиться возят, и из пистолетов в нее паляют, и партреты с нее сьмают... – понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь... по-ихнему – уж зве-зда стала, вон как!

Да с чего уж вам и рассказывать – не знаю, от очуменья никак все не отойду. Увижу во сне, – опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна-одине-шенька – так меня в пот и бросит. Да как же, барыня... Перво-то время вместе мы жили с Катичкой, и каждый день у нас с ней неприятности: «да связала ты меня по рукам – по ногам, да куда мне тебя, старую, девать...» – характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней – «стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю». Разнежится она, «нет, погоди... и все-таки я к тебе привышна... да ты мне нужна, да как я без тебя буду?» А и часу со мной не посидит. Убежит в омут этот страшный по своим делам, а я плачу-сижу, слезь-то одна не смею, сижу-молось, ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тыщи верст улетела, на еропла-нах, мигалки вот где изготовляют... вот-вот, в снима-то эти, сьмаются на картинки где, я и конца себе не чаяла. Абраша, спасибо еще, попался, с нашей стороны, жид-еврей, Тульской губернии... Да легкое ли дело, одна-одинешенька, в чужом месте, в американском, на двадцатом этажу, сказать по-ихнему не умею... Ну, наказала себя ждать, с дилехторами все у ней разговоры шли, велела половым ихним кушать мне приносить. А они без зову не приходят, в разные им пуговики надо тыкать, в иликтрический звонок. Ткнула раз, – смерть чайку захотелось, – приходит арап зубастый, давай на меня лаять, по-ихнему, и на полсапожки тычет, велит скидывать. Все и потешались. Три арапа приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чисто тебе собака принесла. Абраша меня и вызволил, взял к себе на постой, в квартиру, деньги-то такие не платить.

Ну, возила она меня в собор наш, в русский... хороший такой собор, и образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорыч провожал, Абрашин папаша, старичок. Ну, маленько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катичкой потеряли, Васенька шибко заболел, она и помчалась служить молебен, на себя непохожа стала. Да вы его словно видали, в Москве он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили, еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серча-ла!.. В имени у них, у Васеньки, и лошадок брали... ну, вот, вспомнили. Говорите, как я все помню. Где же всего упомнить, память старая – наметка рваная, рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а имение их с нашим рядом, миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые Ковровы они и есть, припомнили. Как же, и он тоже в Америку попал, полковник уж тогда был, а у них в анжинера вышел, хорошую должность получил, иликтрическую. Уж он с нами канителлся, и в Костинтинополе, и в Крыму... спас ведь от смерти нас! Убежит она из дому, чего-то им недовольна, он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит:

– Ах, няня-няня... сколько я всего вынес, три пули меня прострелили – и цел остался, а Катичка меня измучила!

Через себя сказал, скрытный он. Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно я говорю, простите... голова чисто решето стала. И то подумать: где меня только не носило, весь свет исколесила. Я уж по череду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катичку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать...

II

В Америке-то очутились? Это я вам скажу, а сперва-то я вам... Ну, что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барыня, деликатный, а с прежним всетаки не сравнять. Бывало, пьешь-пьешь... ну, не упьешься, до чего же духовит!

А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою наемдни в церкви, на Рю-Дарю, и такая тоска на меня напала... молюсь-плачу. У Марфы Петровны я пристала, в нянях она у графа Комарова раньше жила... Вот-вот, самый тот Комаров-граф, сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась, они ее с собой и вывезли. Все уж у них повзросли, и прожились они тут, ни синь-пороха не осталось, а графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше – в дипломата хотел попасть, да уж расстройка вышла, он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платья для показа примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли, – дочка у них за ресторанишкой нашим, – ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке, тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая, смиловался Господь, за себя плачу... Катичка мне дала деньжонок, и не в обрез... Деньги-то? Да она теперь, барыня, столько добывать стала, – не сосчитать! И богачи ихние к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса, никто и не поверит.

Ну, стою в церкви и плачу, себя жалею... бо-звать чего надумываю: вот, дожила... обгрызочком за порожком стала, никому не нужна. С думы так. И за Катичку-то тревожусь, как она там одна. Катичка-то? Да очень любит, и уезжала я – плакала... да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась... молода, ветерком обдует и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе-Угодникубагюшке, забыла ему поставить. А он сколько спасал-то нас, с иконкой его так и поехала из Москвы... старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне – пойду-поставлю! А уж и обедня отходила. «Отче наш» пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули – «няничка»! И как вы меня узнали, неуж по голосу... разговор у меня такой, тульской все? А-а, по «смородинке» по моей... ишь, ведь упомянули! А я бы вас нипочем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лице, ваша Ниночка все, бывало, – «няня-смородинка», звала... а то «родинка-уродинка». Вот и пригодилась уродинка.

Ниночка-то ничего живет? Так-так, за шофером, офицер тоже был. Так, так... красоту делать обучается. Слыхала, как же, барыням щеки натирают, боту делают. Ну-к что ж, что небогато живут... а кто теперь богато-то живет! Сыты, одеты, обуты, – и слава Тебе, Господи. Катичка и в богатстве вон, а... Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно, – открыточку... не любит она толком написать, знаю ее характер. Недолго наживет она там, с американцами, до первой обиды только. Мне Абраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает:

«И зачем вас барышня пускает от себя, мамаша дорогая! – все он меня так – мамаша дорогая. – У нас здесь один разговор... то ли ты горло кому перегрызи,

то ли тебе голову оторвут!» – так все говорил. – «Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандалить, которая красавица и без свидетелей, и от суда откупятся».

И папаша его, с кем вот ехала я оттуда, Соломон Григорьич, хороший такой мужчина, уж старичок... наш тоже, тульской, портной из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен. Такой-то жалетель душевный оказался... Ехали мы с ним на корабле, семеро суток по морю-океяну ехали, вот я тошнилась, – помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошнился, все меня утешал:

«Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна... ох, зато от Америки этой дальше Уезжаем, бел-свет увидим...» – все меня развлекал.

А его другой сын выписал к себе, в ихние Палестины, в Старый Ерусалим, – и у них тоже там святое место. Про Катичку-то я вам... И рвалась я оттуда, а ради Катички уж терпела, как я ее одну оставляю. Девочка она красивенькая, привлекающая, так круг ее и ходят, зубами щелкают... ну, долго ли с пути сбиться. А она на таком виду, при таком параде теперь... И всего там за деньги можно, а де-нег там... душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то – на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьич. Поняла, может, что погибать мне с ними, не миновать... ну, непричальна я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она заканителила, и идол тот навязался, – роман и роман страшный. Уж как все расканителится – не скажу. Не подумайте чего, барыня... она вот как не желала меня пускать, а я все... так уж Богу угодно, мысли все у меня такие были – поехать надо, Ночи не спала, все думала – поехать и поехать, совета попросить. Да вот, про Катичку-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот, думается мне так, зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катичку отпустить меня, правды-то всей не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее, просилась-то, отвезти-то меня, а сама нипочем бы не уехала, своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а... на мысли вступило мне, поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а... Уж и натерпелась я там, наплакалась-наглоталась. Ну, она мне и... – «что ж, поезжай, там тебе повеселей будет...» – дозволение и дала. И люблю ее, а поехала... будто так надо, в мысли набилось мне. Может, чего и выйдет, к лучшему. Да и правда: тут-то я хоть в церкву схожу, душу отведу, а там как привязанная я словно, да напужена-то, шум такой... чистый ад! И все будто сумашедчие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барыня, вежливей, сравнять нельзя: и улицу покажут, и... Уехала я, вот и ее, может, подманю: соскучится по мне – скорей приедет.

Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катичка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть, в вагон посадила, наказала пять станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли, стала бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнуло. А там омут чистый, автомобили гудят, вагоны крутятся, – завертело мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым, и человек тот с нами ходил-искал... хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им – а-дрист улетел, ф-фы! – поняли, пожалели – не нашли. Поехала я назад к

Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском, а то бы и ее не нашли. Да еще молодчик один на меня поинтересовался, признал – русского я роду, шофер: «садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности, куды вам?» Заплакала я, прямо. Довез акурат до квартиры, ни копеечки не взял. – «У меня, – говорит, – мамаша теперь такая же старушка, в России нашей». Уж такой обходительный, сурьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали, Господь привел.

В Америку-то как попали? А разве Катичка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла, Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете, идол тот замешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатуший, лизун. Это он меня так прозвал – и-дол! – осерчал. Привела его Катичка меня показать, чисто чуду какую... много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, – то-се. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по голоску уж слышу. А он ошерился, и пальцем в меня – «идол!» – говорит. А Катичка после сказала – «иконкой» она меня назвала ему. Она меня, бывало, – «иконка ты моя, не могу я без тебя!» – это уж как разнежится. А тот на меня – идол! – почитает, дескать, она меня шибко! А сам вроде как испуган, лицо такое неприятное, кирпичом, никогда и не улыбнется, зубы покажет только, какие-то они у него... железные словно, а не золотые, смотреть даже неприятно. А богаач... денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там, а он надоел звонками. Много уж за сорок ему, и одутый, а навязался и навязался. И со всеми дилехторами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала, – не отцепляется, так вот и стережет. А она потешается: идол к нам, она Васеньку вызвонит, повертится перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые. Говорила ей – «навязался человек, без пути ходит... да ну-ка еще женатый!» Да уж она волю-то взяла, узды на нее нету, разве она слов слушает. А ей голову закрутили, во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее щелкают... – уж она показная стала. А денег у него... ни в какие банки не укладешь, сам будто делает! Не вздор, барыня, а сущая правда. А, может, и нахвостал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катичке: «сейчас я на ваше счастье миллион сделал!» А она повернулась так, гордо ему – «что мало?» – и ушла, ни слова не говоря. Он глазами на меня похлопал, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня, прямо. Чего уж она наболтала про меня, только он меня невзлюбил. Все и думала – господ бы Медынкиных встречать, про вас. А где вы – и знать мы не знали, живы ли. Оборвется, думаю, у нас с Катичкой, где нам искать защиты? А вы с Катичкой ласковы всегда были, подарки какие всегда дарили, – помога не помога, а все ей совет дадите, и все-таки одержка, очень она своевольная, меня не слушает... и с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера, все терпел. А как заноза в нее насела... Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один, баринов адресок Катичке сказал, на лавочку, она и отписала Ниночке. Артист-то? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомяну, какая-то мудреная... Мен-дриков, что ли? и еще как-то... Кандрихов? Две у него фамилии будто. Все бухвости:

«Я у них на Ордынке театры играл, без ума все от меня были, а Варвара Никитишна перстень, – говорит, – мне изумрудный поднесла!»

Может, что и наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить

можно было, а он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ль чего наскажут. Краснобай такой, балахвост. Катичка ему – «а, пустая вы балаболка!» – а он в ладошки – «поклоняюсь, поклоняюсь!» – никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил:

– Это Медынкин на меня сердает – и адреска барыни не дает. А теперь старое помнить грех, все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее беспрерывно разыщу!

Разыщу, говорит, – так и сказал. Такой настойчивый... В соборе он нам попался. Из себя-то? Да не так, чтобы ахтительный какой, и уж немолодой, а видный такой мужчина, брюзгливый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе... совсем без копейки оказался, и уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А тоже чего-то там представлял, разбойника, что ли, – Катичка говорила. А одета она шикарно, и к собору мы с ней на автомобиле подкатили, – он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все – «Как так, не помните! А в Париже-то мы крутили с вами!..»

Чего сказал! Катичка ему и отпела, перчаткой так:

«Извините, не помню... и хочу молиться!»

Расстроены мы, Васенька заболел... а он пристал и пристал. Отслужили молебен, и он с нами помолился, на коленках даже стоял, – не отцепляется. Плакал даже с нами, так и расположил.

«Каждый, – говорит, – день в соборе плачу-молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно».

Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и се... и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово – вас и помянул. Тут и распуталось. \ Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему: велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак.

«Лечу, – говорит, – на вокзал, счастья пытаться в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь – русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихватю и хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все, – говорит, – родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку... ба-а! – сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет! Только расцеловались, адресок лавочки записал, – поезд ждет, опоздаю на пароход».

Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурки играем по белу свету. А еще вот, – ну, прямо не поверишь, как расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили... хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головова... – и что же, барыня! Где это вот Дунай-река... как это место-то?.. нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил?... Правда, уж по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспрерывно к вам побывать, в Америке уж все у него оборвалось.

«Только бы до Парижа докатиться, а там опять, – говорит, – встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали... и у них беспрерывно деньги имеются».

Такой нахал, сущую правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А уж эти антилигенты, бары-

ня, дочего же завистливы! В Москве сколько насмотрелась. Ну, известно, не все... а насмотрелась.

«Они, – говорит, – с заграницей торговали, у них беспрерывно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». Уж такой-то наглый, не дай Бог. «Должны быть деньги, секретные». Как это он?., не секретные, а... Те-мные, вот как. – «Я бы, – говорит, – и в Америку не пустился, далищу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так». А уж говору-ун!.. «Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет». Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали, дилехтора. «Закадычные, – говорит, – друзья с ней были, из одного стаканчика пили, и партретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался».

Прямо са-нтажист, верное ваше слово. Придет, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, где неслед, бриллианты-жемчуга все какие, большие тыщи плачены, – упаси Бог, человека соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится. А как же, и к нему прицепился, да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думается так, уж не принянял ли его идол-то на тайное какое дело, досматривать... Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил, – про перстенок, да что вот партретик оторвался.

«Теперь бы, – говорит, – этот перстенок... на автомобилях бы раскатывал».